

Три стороны камня

Автор:

Марина Москвина

Три стороны камня

Марина Львовна Москвина

Классное чтение

Новый роман «Три стороны камня» Марины Москвиной (финалист премии «Ясная Поляна», автор романов «Крио», «Гений безответной любви», «Роман с Луной», книги «Моя собака любит джаз») продолжает ее бесконечную историю любви к нашему угловатому и абсурдному бытию. Это трагикомическое повествование про живописца, который искал цвет в своих картинах и в конечном счете превратился в чистый свет. В прозе Марины Москвиной упоминания заслуживают лишь те люди и события, которые приносят дыхание вечного в наш преходящий мир.

Марина Львовна Москвина

Три стороны камня

Нет более соблазнительного дерзновения для человеческого сердца, чем попытка понять стершиеся человеческие следы, которые вдруг являются перед ним и обращаются к нему.

Эмилио Бетти

© Москвина М.Л.

© Тишков Л.А., иллюстрации

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Абрикосовка

У меня душа как-то некрепко держится за тело. Любой внезапный переполох может вытряхнуть из меня душу, и даже в мелочах – стоит мне споткнуться на бегу, глядь, она парит в вышине. Особенно этому способствуют любовь и алкоголь. При этом, как бывает только в кино или во сне, тело мягко и расслабленно опускается на землю.

Первый раз это случилось в Юрмале на детской площадке, среди медовых лип и корабельных сосен с зарослями черники у корней, наполнявших воздух запахами смолы и нагретой хвои. Крутилась карусель, и мой дорогой мальчик с ветерком летел по кругу, да еще раскачивался, ибо это были качели-карусели. Солнце клонилось к закату, на тот момент оказавшись на уровне глаз, и все было видно контражуром.

Карусель остановилась, а когда я потянулась к ребенку, она вдруг поехала с музыкой хрустальной. Меня ударило по лбу железной балкой, и я увидела себя лежащей лицом к небу, раскинув руки, крутились трубы, гроыхая и скрипя, наверно, снизу напоминая адскую машину, а сверху – праздничную иллюминацию, кружащую под наигрыш волшебный.

Передо мной уж мерцали белые фигуры, исполненные любви. Они как будто совещались и были очень притягательны, из чего я заключила, что небесное притяжение, пожалуй, посильнее земного. Мелькнуло испуганное лицо

мальчика. И я мгновенно обнаружила себя сидящей на скамейке, на лбу вздувалась здоровенная шишка, а Павел побежал играть дальше – подумаешь, только шишка, и больше ничего.

Это был период, когда мир явно пребывал со мной в раздоре. Все время северный ветер какой-то злой, даже летом, нервы на пределе, люди представлялись мне сборищем отщепенцев и фриков, иногда утром я просыпалась в полнейшем отчаянии без всякой видимой причины.

Да и что тут веселиться-то, когда кругом наводнения, землетрясения, тайфуны, черная дыра поглощает материю, антивещество пожирает вещество, брахманы прекратили творить молитвы, народы впали в варварство, всю ночь над ухом зудят комары, по улицам стаями бродят сумасшедшие, в раздолбанных автомобильчиках – шудры. Всюду слышатся пьяные крики, мат-перемат, из окон доносится перебранка. Встанешь на трамвайной остановке – рядом бабуля в мини-юбке, ярко накрашенная, в парике с искусственной косой, бледный слепой высотой с коломенскую версту нащупывает посохом сквозь толпу дорогу к трамваю...

Я даже затеяла окреститься, пошла в храм на Петровке, а там священником – отец Михаил, душа-человек, я ему рассказала про свою беду, а он вдруг так жарко зашептал:

– Вы счастливица в сравнении со мной. Мне надо принимать исповедь, причащать, благословлять, а на уме: “Да будьте вы неладны!” Или, что еще хуже: “Чтоб вы сдохли все...” Хоть снимай ризу и меняй работу!

В смятении вернулась я домой. А мои окна выходят на Бутырскую тюрьму. Нет-нет и поглядываешь, не собрались ли семь Ангелов, имеющие семь труб, вострубить и не летит ли на землю звезда, которой был дан ключ от кладезя бездны?

Хотя мой приятель Флавий считал подобный вид из окна благословенным, ибо он развивает у квартиранта философское отношение к жизни.

– Еще лучше, если б твои окна выходили на крематорий, – заявлял он мечтательно, – что напоминало бы о бренности бытия...

Своим благозвучным именем друг мой обязан мамочке, та много лет заведовала сектором икон в Третьяковской галерее. Агнесса Шимановская, специалист по Страшному суду.

– Я только запомнила, – бормотала она спустя много лет, уже старенькая, седая, всегда всем ужасно недовольная, – в честь кого именно я назвала сынулю? Флавия Иосифа? Флавия Аэция? Флавия Стилихона?.. Ромула?.. Филострата?.. Вегеция Рената? Флавия Клавдия Юлиана или Флавия Севера?

Верней всего – Иосифа, поскольку сестрица Флавия – Сибилла – тоже отхватила имечко дай боже, но эта, уж никаких сомнений, – наследовала незабвенной королеве Иерусалимской.

– Когда Амори, сын Фулька Анжуйского и Агнес де Куртенэ, взошел на трон Иерусалимского королевства, – говорила низким контральто их царственная мать, – его брак объявлен был недействительным по причине кровного родства. Но Сибиллу и ее брата Балдуина после долгих и нудных препирательств с большой натяжкой и оговорками объявили законными детьми...

Одна радость, что Шимановская не одарила сына звучным именем Балдуин, чем обрекла бы его на пожизненное прозвище Балда. А Флавий – однокашники и так пытались вывернуть, и эдак, все головы сломали, оно неприступно высилось, как монолит не поймешь из какого сплава, отполированный до блеска.

Притом Шимановская утверждала, что родом они из деревни Похолуево Рязанской области и Флавий с годами стал вылитый дед Похолуев – такой же раздолбай, царствие ему небесное. А на меня порой неодобрительно косилась и спрашивала прямо в лоб:

– Райка, ты еврейка?

На что я сызмальства неизменно отвечала:

– Уже да!

С намеком: с кем поведешься, от того и наберешься.

Однако Шимановская, глядя на меня как царь сами знаете на кого, не раз объявляла, что в жилах ее семьи течет исключительно славянская кровь без малейших примесей и вся их компания от кончика носа до кончика хвоста – русские, а именно: бабушка Иовета, сама Агнес, два ее отпрыска Флавий и Сибилла вкупе с отцом Амори Мануилом, предложившим руку любимой дочери графу Стефану Сансерскому. Но Стефан – тот еще обалдуй, не хуже деда Похолуева: из-за какой-то вассальной клятвы, данной римскому императору, которую пришлось бы расторгнуть, стань он королем Иерусалимским, отказался от своего счастья. О чем все, конечно, горевали, ибо Сибилла имела странную особенность, причем никто понятия не имел, что с этим делать: бедняжка непрерывно росла, будучи уже совсем взрослой.

И кто это вынужден терпеть? Я, дочь Софьи Андреевны, дочери Екатерины Федоровны, дочери Аграфены Евдокимовны, потомок фабрикантов Абrikосовых, которым принадлежало пол-Москвы – особняки, богадельни, заводы и пароходы, а главное – прославленная кондитерская фабрика немыслимого масштаба деятельности: “Товарищество Алексея Абrikосова и сыновей”, оборудованное по последнему слову техники, в том числе и паровыми машинами. Потом ее переименовали, и она стала фабрикой имени революционера Бабаева.

Да как она смеет так со мной разговаривать, эта Шимановская, если в зените славы мой прапрадед Алексей Иванович Абrikосов получил звание поставщика двора Его Императорского Величества!

Нет, я ни в коей мере не умаляю величие деда Похолуева, всеми правдами и неправдами уберегшего чистоту славянских кровей, – просто благодаря моему излишне длинному носу, а также непроходимой тоске во взоре меня частенько принимают за представителя избранного народа, и мне, как Человеку Мира, это не то чтобы обидно, а злит как не знаю что!

И сны, сны одолевают меня, запоминаясь во всех подробностях. Как правило, невесомые и бесплотные, а тут неожиданно ярко так, реально привиделось облако, в котором бушевал пламень, а в пламени – колесница с крылатыми животными, имевшими каждое четыре лица: одно – человека, другое – льва, третье смахивало на орлиное, а четвертое – то ли агнец, то ли еще кто-то в этом роде.

– А перед лицами – колеса, усеянные очами? – спросила Агнесса, когда я рассказала им с Флавием о своем видении. – Ты у нас просто пророк Иезекииль!

Райка и внешне смахивает на Иезекииля, ты не находишь? – спросила она у Флавия.

– Конечно: у них, у русских, лицо капустой, нос картошкой, – сказала я, зарекаясь с ней обсуждать что-либо касательное таких тонких материй.

К тому же она побаивалась, что Флавий женится на мне и я буду претендовать на ее жилплощадь. На кой мне сдалось их ласточкино гнездо под стрехой, блочная пятиэтажка в Марьино, когда я всю юность прожила в квартире, где до революции вольготно располагались мои родовитые предки.

Дом наш стоял на высоком берегу Яузы – священное место, Лыщекова гора, Николоямская улица. Сколько там было купеческих домов, особнячков, дворцов и церквей – все сметено, уцелела одна церквушка Покрова Богородицы, единственная в Москве несмолкающая веками звонница: две колокольни звонили после злополучного октября – Ивана Великого в Кремле и наша. Это примерно четыре остановки на троллейбусе до моей бабули Кати.

Дом Абrikосовых – вычурной конструкции, с излишками архитектуры, балясинами, увенчанными гроздьями винограда; широченная парадная лестница, чугунные перила, пять с лишним метров потолки – практичные жильцы громоздили над головами второй этаж, прилаживая винтовую лесенку, – анфилада комнат и коридор с шикарным дубовым паркетом ромбиками, уходящий в бесконечность.

Как это ни удивительно, пращур мой, Абrikосов, радостно приветствовал революционные бури. До октября семнадцатого года в его домашнем дневнике встречаются такие записи: “Послал Осипа за маслом, просто хлеб с черной икрой не так хорош...” После февральского восстания появятся вольнолюбивые строки: “А может, и славно, что нет никакого царя?” А после октября из этого же дневничка мы узнаём, что Ося, высунув язык и утирая пот со лба, сидел на кухне, выводил какие-то каракули. Старик хотел помочь, поскольку тот неграмотный.

– Пишите, барин, – сказал Осип. – “В совет рабочих и солдатских депутатов. Заявление. Семья Абrikосовых по адресу Николоямская, дом 8, занимает слишком много комнат, их надобно прикатать...”

Домовладельца уплотнили, оставили одну гостиную, и ту разделили фанерой пополам, а благородное семейное гнездо превратили в пчелиные соты. Но папочка – правнук Абрикосова, Абрикосов Альберт Вениаминович, выдающийся физик и математик, – был благодушен, миролюбив, он мне говорил:

– Всегда надо разговаривать друг с другом вежливо. А в критических случаях... особенно вежливо: “Дорогой сэр, вы позволили себе в мой адрес... Когда будем стреляться, сэр?” – “В среду, сэр...” А не: “Ах ты, сволочь, мерзавец, подонок, свинья...” Кстати, “свинья”, – объяснял он мне, – означало трусость и отсутствие воинской доблести – всего лишь!

И рассказывал, что у них в доме перед войной был жутко приставучий дворник, жильцы с ним ругались, посылали куда подальше, а он оказался осведомителем НКВД. Весь дом пересажал – кроме нашего папы, который один с младых ногтей ему говорил всегда:

– Здравствуйте, Кондрат Егорович, как поживаете?

Только папочка и остался, его не тронули.

Похоже, над нашим родом простер крыла ангел: обо всех судить не берусь – у пращура было двадцать два ребенка. В лучшие свои времена фамильный клан насчитывал сотню, а то и больше благоденствующих плодов раскидистого древа Абрикосовых. Кто-то вовремя покинул эту страну, как загоревшуюся одежду, кто-то раздал свои богатства, переменял имя и с котомкой двинулся по Руси.

Зато на нашем стволике с ближайшими ответвлениями старики во благовремение умирали в своей постели, что было недостижимой роскошью по тем временам. Каждая личная история заканчивалась хеппи-эндом – если про человека можно было сказать: он много пережил невзгод, но умер в своей постели.

Справа на стенке висел общественный телефон. Перед телефоном – три комнаты с паркетом, элитные, где обитали я, мамочка и папа, те самые Абрикосовы, плоть от плоти, но это не афишировалось. Тут же, за фанерной кулисой, – Екатерина Васильевна Толстая, совершенно седая, прямая, худощавая, в синем халате (половинка двери наша, половинка – невестки Льва Толстого, неясно, по

какой линии).

Дальше – надменная Лидия Петровна, интеллигентная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, вдова академика Магницкого, химика и металлурга, единственного, как говорила Лидия Петровна, “беспартийного друга Сталина”. У той все отдельное – мраморный рукомошник с белым эмалированным кувшином, личный телефон и светлая просторная комната с видом на проезжую часть. Перед ее окнами ездили троллейбусы, это считалось шиком, и там всегда было солнце!

К Лидии Петровне часто приходили серьезные люди в длинных габардиновых пальто и шляпах, она устраивала респектабельные приемы. На стенках фотографии – Магницкий с Папаниным, с академиком Павловым, с Гербертом Уэллсом. Повсюду в комнате лежали памятные альбомы, стопки рукописных листов, испещренных химическими формулами.

При жизни нашего достопочтенного соседа Иосиф Виссарионович презентовал ему вагон, осевший в тихой гавани двора Череповецкого завода металлоконструкций, где Лидия Петровна учредила музей, отправив туда целый грузовик личных вещей мужа.

Она торжественно открыла экспозицию и уже бомбила Министерство черной металлургии просьбами основать у нас в квартире мемориальный кабинет, поскольку за бортом вагона осталось еще много редких фотографий, рукописей, ручка с золотым пером, настольный письменный комплект из кожи крокодила, подарок африканского посла, к тому же сохранилась роскошная коллекция галстуков этого великого человека!

Прослышав о наполеоновских планах Лидии Петровны, папочка предложил открыть показ коллекции “Сто галстуков Магницкого”, распространить пригласительные билеты и устраивать вечера воспоминаний.

По утрам Лидия Петровна и графиня Толстая оживленно беседовали на кухне по-французски, обсуждая что-то, не предназначенное для ушей советских обывателей вроде дремучего таксиста Гарри и его супруги Антонины, милиционерши, очень властной, фанатично преданной своей профессии, с лицом боярыни Морозовой, только художника Сурикова не хватало – запечатлеть ее суровые черты.

А впрочем, был у нас и художник. Если от входной двери шагать по “главной улице с оркестром” – увешанной лыжами, корытами и тазами, мимо великого и ужасного гардероба, хранителя никому не нужного барахла, – на самом краю нашего перегруженного ковчега, на излете кормы, где в дощатом аппендиксе стрекотала пара сушеных кузнечиков, бывшая прислуга, столетние Надюша и Зинуля, считай, в бортовой щели, по оплошке не законопаченной Ноем, – с некоторых пор тулился живописец Илья Золотник, Илья свет Матвеевич, божий человек.

По причине крайне малогабаритного жилья свои картины Золотник ваял исключительно по вертикали. Вынужденная вертикаль формировала устойчивую тематику – это была мистерия, даже, я бы сказала, разгул вознесения. Размытые и неясные образы будто появлялись из влажной темноты сумерек, легко преодолевая гравитацию, устремлялись ввысь, решительно покончив с делами на Земле, отзываясь на властный зов Вселенной.

Что, в общем-то, удивительно, как я сейчас понимаю, ведь так или иначе художник на картине изображает себя самого, не важно, в букете, пейзаже или натюрморте. Я уж не говорю об автопортретах – Леонардо, Эль Греко, Ван Гог с отхваченным ухом, – но даже близкий мне по местожительству “Тюремный дворик” или “Виноградники в Арле”, вплоть до абстракций Пикассо!

Илья же Матвеевич внешность имел рельефную, несколько даже пингвинью: неуклюжее тело при маленьком росте, круглая голова, курносый нос, вывернутые губы, крохотные глазки-незабудки, а над этой неизбывной голубизной нависал громадный покатый лоб, как омытая волнами скала над водоемом.

Сократовскую его оболочку никак не отражали вытянутые бесплотные сущности, которые на полотнах едва различал глаз, поскольку цветовая гамма Ильи Матвеевича имела оттенки тонкой мути, серых берегов, тумана и слепой шири. Никто не мог сказать наверняка, долетал ли дотуда глас небес. Больше того, некоторые люди, видевшие многодельные творения Золотника, готовы были поклясться, что на холсте вообще ничего нет!

Вранье, вранье, там что-то проступало, сквозило и просвечивало, какой-то волновой энергетический узор, похожий на зубастое крыло, которое вцеплялось в грудь, тянуло вверх за фалды, а может, на пару плотоядных крыльев, схвативших за спину... Толчок, удар, прорыв, распахнутая дверь в неведомое

мглистое пространство, в его непроницаемую мощь – и одновременно полную прозрачность, беззащитность выписывал Золотник с великим усердием.

Какая цепь событий привела его в наши палестины? О своих подвигах в миру Илья Матвеич рассказывал смачно, колоритно, приняв на грудь, как дополнение к этой счастливой жизни – в качестве гастрономического удовольствия. И не только! Выпивка в случае Ильи Матвеича несла духовную нагрузку, сулила теплое застолье, где провозглашают заздравные тосты, вспоминают прошлое, говорят друг другу приятные слова.

Собирались у нас за большим овальным столом с ореховой столешницей, будто бы вросшем резными “львиными лапами” в паркет, папа называл его обломком тихоокеанского лайнера Абрикосов и Ко (“Одна радость, – он добавлял, – хорошие соседи!”), всем миром накрывали поляну, в центре которой по особо торжественным случаям красовалась малосольная скумбрия “кисти Золотника”!

В ближайшем продовольственном Илья Матвеич покупал свежую рыбину, потрошил, обезглавливал, чистил, брал за хвост и двумя-тремя точными движениями срезал мякоть. Пахучую рыбную субстанцию Золотник укладывал в миску, туда сыпал соль, сахар, черный молотый перец, свежий зеленый лучок (“В альянсе с зеленым луком серебристая скумбрия смотрится особенно живописно!”), поверх – тарелку с гнетом, круглым тяжеленьким голышом с озера Балхаш.

На Балхаше Илья Матвеич во времена оны проходил армейскую службу в секретнейшем городе Приозерске, где и познакомился с Митей Осмеркиным, родственником того Осмеркина знаменитого из “Бубнового валета” (те же штаны, шутил Илья Матвеич, только наизнанку), взволнованным певцом родного подмосковного поселка Перхушково, точнее, сосны на его окраине.

Илья Матвеич служил завклубом, а Митя “фершелом”, но рисовал как заведенный “Сосну в Перхушково”. Он рисовал ее по памяти – под чистым небом, кроной в облаках, в лиловых сумерках, бурлящей жизнью, с грачами, галками, воронами – как Митя выражался, мелкой птичьей сволочью. Над ними проплывали солнце и луна, раскачивали ветки ветры, пронизывали звездные лучи.

– А тут Балхаш! – солировал Илья Матвеич. – И если, дорогие вы мои, не поленишься и взглянуть на карту, вы все заплачете – такая там вокруг жаровня ада. Шаг в сторону – и по колено ты в пыли. Второй – по пояс. Третий шаг – и ты в объятиях пустыни. Зима – все та же пыль и сорок градусов мороза. Как только в этой преисподней водятся фаланги?! Проснешься утром – он, мохнатенький, пригрелся под бочком, стряхнешь его и думаешь: ну ладно, хрен с тобой. Они тут ядовитые, но не смертельные, не то что в Джеккагане...

– Да и зачем ему кусать Илюшу, – вступает в разговор Осмеркин, – если под мышкой у Ильи он, считай, у Христа за пазухой?

– Выйдешь к воде, озеро без берегов, штормит, волны – с пятиэтажку – вдребезги бьются о скалы. – Когда Илья Матвеич выпивал, то изумительно держал компанию. – А ты стоишь на этих вот камнях – в горле ком, ты: “Мать-перемать!!!” – орешь наперекор волнам. И только скалы, тучи, ветер и песок слышат твою песню.

Он был чистейшим гением и знал это. Ни выставок, ни славы, ни продаж, естественно, он постоянно где-нибудь работал.

– У меня трудовая книжка – трехтомная, – слегка фанфаронил Илья Матвеич. – Первая – на казахском языке. Три пухлые книжищи! С их потрепанных страниц встает во весь исполинский рост моя героическая биография. Я только в космосе не бывал, хотя на мне испытывали скафандр, потому что мы антропологически похожи с одним космонавтом, не буду разглашать его громкого имени. Солидные люди из Института космических исследований предложили мне провести этот эксперимент, я с ними познакомился на шабашке. “Если выживешь, – они сказали прямо, – тогда он тоже вернется на Землю”.

Мы всей квартирой думали да гадали, что за колобок такой выискался среди покорителей космоса, наверно, Алексей Леонов, тем более что в рассказе присутствовала одна нелицеприятная деталь: когда все завертелось, закрутилось и помчалось колесом, вышняя реальность оказалась не совсем такой, нежели соратники по шабашке смоделировали на Земле. В открытом космосе опробованный на Илье скафандр на хрен деформировался, и только чудом его космического дублера не поглотила клокочущая Вселенная.

– Понимаете, дорогие мои, воспоминания – это что-то феерическое, – говорил Золотник, опрокидывая стопочку, закусывая малосольным огурцом.

После чего обыкновенно следовал рассказ о сказочной удаче, которая сопровождала каждый шаг Ильи Матвеича, особенно подшофе.

Родился он в Барнауле, почти там не жил, а только впитал в себя бело-серые краски разлившейся Оби, серо-лиловую, болотную – наводнения на Барнаулке, ореховую – пустырей, искрасна-черноватые тени землянок – сараев, сложенных из досок, фанерных шкафов и панцирных сеток от кроватей, зеленую землю огородов, белильце привязанной к колышку козы, сизые клубы дыма, валившие из трубы спичечной фабрики.

Запомнил мотогонки по отвесной стене бродячего шапито, устроившего представление в храме Дмитрия Ростовского, тощего клоуна Алекса и безрукого иллюзиониста, тот показывал фокусы ногами, это было потрясающе!

И в Барнауле, и в Камне-на-Оби, где Золотник провел детство, да не в самом, а под Камнем, в Соснинской заимке в районе Острой сопки, станция Большая Речка, – по улице на работу возили пленных японцев.

Мальчишки бежали за полуторками, бросали камни с комками грязи, кричали: “Япошки! Япошки!” А те, голодные, грязные, оборванные, ни живы ни мертвы, – улыбались из мутных окон. Поверженные воины доблестной Квантунской армии валили лес, прокладывали железные дороги, строили поселки, гнули хребет на шахтах и заводах, болели, умирали, – казалось, это лучше, чем лежать убитыми, как сотни тысяч их собратьев на сопках Маньчжурии.

Громче всех “япошки, япошки!” кричали китайцы, дети эмигрантов, они потом дружно исчезли, когда образовалась Китайская Народная Республика во главе с Мао Цзэдуном, уехали – и с концами.

– Откуда мне было знать, – вздыхал Золотник, служивший одно время развесчиком картин в Музее восточных искусств, – что у меня потом будет к японцам совсем другое, адекватное отношение...

В Соснинке, чуть не под окном, грохотала горная речушка Улала, норовистый приток Маймы, – очень холодная, он хорошо помнил, хотя ему не было и года,

когда его отец брал на руки, входил и окунал Илью Матвеича в ее ледяные воды.

– Вся цивилизация пошла от нашей Улалушки, – с гордостью говорил Золотник, – а не из какой не из Африки. Хотя там у нас дыра дырой! Но не в этом суть!

Суть же в том, что Илья Матвеич отвратительно учился в школе. Только рисование удавалось ему в кружке, больше ничего. И когда он в очередной раз остался на второй год, – бросил школу и бродил с альбомом – рисовал озера, лес, холмы, высокую траву, орла-могильника на обточенных ветром камнях, – дядька Чебогатурин, хромой сосед, сказал:

– Что, парень, ходишь – рисуешь, ботинки снашиваешь? Кому это надо? Освоил бы лучше малярное мастерство! Я в юности мечтал стать маляром, да война, ранение, госпиталя... У тебя вся жизнь впереди! Научись колера смешивать, это гарантированный рубль! А художник – куда ни глянь – ни с какой стороны не гарантированный. Знаю я в Алма-Ате одно училище, где на маляров учат, у меня там товарищ по стекольному делу – я ему черкану записку, не пропадешь!

Мамочка стояла на платформе в лимонном платье шелковом из крепдешина с нечастыми голубыми васильками и рыжими веточками, зелеными листочками. А ее мальчик с рекомендательным письмом стекольщику – ту-дух, ту-дух, ту-дух! – во весь опор помчался из глухой провинции в столицу, словно молодой гасконский дворянин д'Артаньян в Париж к господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров.

Ночь он провел в вагоне с фонарем, внутри которого слабо мерцала свеча. Пассажиры спали на лавках, заглушая слабый свист паровоза сонным бормотанием и прерывистым храпом.

В отличие от малоимущего гасконца, Илью приняли радушно, дали форму ФЗУ, койку в общежитии – учись, студент, грызи гранит науки! Он начал грызть, а там такая скукотень: все штукатурка да грунтовка... А где же краски? Краски где – с манящим запахом олифы? Где маховые кисти, макловицы, филенки, ручники, торцовки??? Где охра, мумия, сиена, умбра, ультрамарин, железный сурик? Где желтый марс, – он спрашивал у мастеров, – лазурь и малахит?

– Какой ультрамарин?! Какие масловицы? Шпаклевка, парень, и затирка первый год. А красить – это на втором курсе...

Илья Матвеич приуныл, занервничал. И тут на горизонте появился Август Штро, бывший музыкант оркестра Ленинградской филармонии под управлением Мравинского. Из-за болезни сердца врачи ему велели сменить климат, сырой воздух вреден был для него, там он умер бы через год-два, а в Алма-Ате расправил крылья, вострубил в Театре оперы и балета имени Абая – он играл на тромбоне. И всегда вспоминал, как до войны еще на Дворцовой площади собирался могучий сводный оркестр: сотни музыкантов, в основном военные, исполняли лучшие свои номера, – ничего грандиозней Август в жизни не видывал и не слыхивал, чем когда они разом грянули Римского-Корсакова “Полет шмеля”!

Вот он и решил собрать все духовые оркестры трудовых резервов Казахстана. Да еще организовал коллектив под своим управлением из школяров – штукатуров, маляров, стекольщиков, каменщиков, бульдозеристов и водителей башенных кранов.

– Я начал с нуля и хотел играть на кларнете, – рассказывал Илья Матвеич, – а Штро: попробуй-ка тубу! Держи мундштук и дуй! Я подул. И поверите ли, друзья? У меня обнаружилась фантастическая мощь воздушного потока. Взгляните на эти губы! – Золотник вытягивал африканские губы, как шимпанзе для поцелуя. – Я только приближал к ним амбушюр, и огромный раструб тубы наполнялся рокотом, ослиным ревом, еще до наставлений маэстро мне были подвластны звуки, издаваемые омерзительными и чудовищными пресмыкающимися! Ребята из оркестра прозвали меня Губастым. Туба стала моей страстью. Это был настоящий медный инструмент, а не какой-нибудь дюралевый или латунный. Общага стояла на ушах, когда я осваивал ноты, долбил гаммы, пытался разгадать тайну вентиляей!

Дебют состоялся через полгода в Оперном театре. Оркестры Экибастуза, Актюбинска, Павлодара, Кандыагаша, Темиртау – все были в гости к ним!

– Триста духовоперов! – восклицал Илья Матвеич. – Мы вышли на сцену и сыграли два гимна: гимн Советского Союза и гимн Казахстана.

– И всё? – разочарованно спрашивал отец Абрикосов.

– Мы же только начали, Альберт! Не все артисты знали ноты, оркестру не хватало слаженности, и звуковая атака была так себе – одна ритмическая смелость! А в гимне, это между нами, всегда можно сачкануть... Но только не тубе! Туба ведь – нечто среднее меж баритоном и трубой, в ней легкость звукоизвлечения корнета, мягкость валторны, величественность, роскошь, благородство плюс уникальная густота тона. Туба звучит слишком выпукло, это колоссальная ответственность.

Через год репертуар расширился, оркестр наяживал “Марш танкистов”, “Марш артиллеристов” и “Танец маленьких лебедей”. (“Причем идея была моя! – гордо говорил Илья Матвеич. – В Чапаевске мама водила меня на «Лебединое озеро» в Дом культуры. «Август Михайлович! А хорошо бы Чайковского сыграть!» На следующую репетицию он пришел с нотами”.)

Август прочил ему большое будущее – с таким-то амбушюром. К тому же Золотник вскоре овладел резкой, острой атакой звука. Когда в театре перед началом “Ромео и Джульетты” заболел тубист и надо срочно было отыскать замену, Штро не раздумывая предложил любимого ученика.

Илюша прибежал, трясясь от страха, обмирая, взошел по каменным ступеням Оперного театра, этого Парфенона с колоннадой, смеющимися-плачущими масками на фасаде, взял инструмент и, как это ни удивительно, по знаку дирижера вовремя и к месту издал “рявкающий звук” в марше Монтекки и Капулетти.

В антракте все стали поздравлять его, хлопать по плечу! Опьяненный успехом, Илья выкарабкался из оркестровой ямы, пошел искать туалет, а за кулисами такая кутерьма, он заплутал среди гримерок, декораций, костюмерных, карманов, закоулков, лабиринтов, в конце концов увидел дверь на улицу, шагнул во двор и остолбенел: по пояс голый, в голубом плаще, накинутом на плечи, в широких желтых штанах с красными лампасами и в алой бескозырке, худой, как барнаульский клоун Алекс, посреди двора, будто в центре самого мира – стоял Художник.

Илья сразу понял: вот этот человек, каким он сам хотел бы стать. Большой и всемогущий, с ведрами красок, гигантским полотном, раскинутым на земле, и великанской кистью размером с дворницкую метлу, – тот окунал ее в ведро и

щедро, от души бросал на полотно мазки – все это на живую ногу, как говорил дядька Чебогатурин, играючи, небрежно, можно сказать, не глядя.

То был ритуальный танец шамана, который нацелился в небесные чертоги, – так незнакомец взбегал по стремянке и с высоты оглядывал свое творение: хорошо ли? Потом спускался, и на разлинованную квадратами тряпицу шлепался новый густой мазок.

Илья застыл столбом.

– Что, обалдел? Видал, как надо красить? А не так, как ты: тык, тык!.. Как тебя зовут, малый? Илья? Илия – это бог грома, ты должен быть как гром, греметь везде, а не столбом стоять!

– А вы откуда знаете, что я на маляра учусь?

– Я, Илия, все знаю, все вижу, вижу, что ты художником мечтаешь быть, так ведь, Гермес Трисмегист?

– Трисмегист это кто?

– Это Гермес Трижды Величайший, друг мой! Хочешь помулывать? Вот там возьми флейц и присоединяйся. Мажь еловые стволы голубым, ветки крась лиловым из вон того ведра, я там уже колер намешал.

От слова “колер” у Ильи захолонуло в груди, он взял кисть, макнул ее в ведро и стал красить, удивляясь: почему стволы голубым? А из-за стволов и еловых лап выглядывали страшные коричневые хари, они гримасничали, пучили глаза, высывали языки.

– Если режиссер скажет, что эти рожи ни к селу ни к городу, я их замажу. И превращу в камни. Но сквозь мои камни будут просвечивать лесные духи, поскольку они заодно с Сусаниным против поляков. Вот так, Илия! Только мы с тобой будем это знать, больше никто!

– Дядя Сережа. – Вдруг он повернулся к Илье и протянул ему заляпанную краской ладонь. – А если полностью – то Сергей Иванович Калмыков, гений

первого ранга Земли, Вселенной и ее окрестностей, слышал о таком? Так вот – это я!

– Илья... Илья!!! – донеслось из-за угла. – Где ты? Дирижер зовет, не начинают, тебя ждут!

– Мне пора, – сказал Илья, – я на тубе играю, в оркестре.

– “Ромео и Джульетту”? Чует мое сердце, ничем хорошим эта история не кончится! Ты вот что, Илия, приходи ко мне домой, в мой дворец муз, магистериум, на перекрестке Емелева и Советской, если встать лицом на восток, в шаге от Парка федерации... Я тебе покажу свою новую картину... До свидания, дорогой друг!

Потрясенный вернулся Илья Матвеич в общежитие, сбросил одеяло с кровати и на простыне синими чернилами нарисовал задник с лесом и луной над холмами, с лодочкой и лунною дорожкой, за что получил нагоняй от коменданта Галима Галимовича, который топал ногами, грозился выселить к чертям, и так он всем осточертел своими кошачьими концертами.

Тем более в Алма-Ате особенная акустика. Горы окружают город и отражают любые звуки, с гор дуют ветры, да летняя жара, да холодные арыки. Поэтому, когда в ясную ночь Илья дул в свою медную тубу, ее звук слышен был за десять километров, а то и дальше уносился, на вершины снежных гор!

С большим трудом Илья уговорил Галимыча повесить разрисованную простыню на стенку в прачечной или в каптерке у завхоза как образец декоративного искусства.

Назавтра, только Штро отмахнул палочкой, показав, что репетиция окончена, с тубой на плече Илья отправился по указанному адресу.

Зачем он взял с собой тубу? Во-первых, с ней он чувствовал себя уверенней – а то весь трепетал, как лист на ветру, что вновь увидит своего кумира. Ну и собрался вечером подрепетировать, они разучивали марш из оперы “Аида”. Бархатный и шелестящий *pianissimo* у него плохо получался, зато на *forte* к густому тембру он ловко насобачился добавлять металлический блеск, звук будто не умещался в инструменте, и туба начинала мелко дрожать.

Это был какой-то всплеск радости, Август Михайлович называл Илью золотым самородком, предложил индивидуальные бесплатные занятия, обещал договориться с Мансуровым о стажировке в оркестре, минуя всякие училища и консерватории. Илья обещал подумать.

– Да что тут думать-то? – удивлялся Штро. – Это судьба твоя стучится в двери, как в “Пятой” у Бетховена: от мрака к свету и через борьбу к победе!

Илья шел, ликуя, напевая:

– При-иди чело укра-а-а-сим мы... При-иди чело укра-асим мы... Сплете-ом из лавров вено-ок тебе-е-е!..

И прекрасный город служил ему фоном и хором: ветлы в три обхвата, волнующиеся от налетевших горных ветров, – ветвей у ветлы целый лес, и нежная зелень весенняя, пока что не пыльная, еще не выжженная солнцем, шелестящая стена пирамидальных тополей, кроны красных дубов и вековых карагачей на улице Абая, предгорья Алатау в яблонях цветущих, облака и Небесные горы – пока не загустела листва, их сахарные головы просматривались вдоль и поперек – от лысых прилавков до ослепительных льдов на макушках.

Ведь недаром же с детских лет в каждом желал он найти удивление, солнце и щедрость, размах и, конечно, – Любовь! Потому что ему одному, Илюше Золотнику, дано в этой жизни хоть что-нибудь понять из никому не понятного явления – беззаветной любви, которая поднимет его в небеса. Тогда он оглядит с высоты этот город и горы, глубины океана, материки, мировое пространство и позовет туда всех, кто пока пешком, кто отстал и устал!

Илья шагал с пылающими ушами, сам не свой от сознания важности своего туманного земного предназначения. Кем я буду? Кем, кем? – думал он. И вообще, что я такое? И когда я об этом буду знать? Никто не замечал меня, никому я не был известен, никто не спрашивал, кто я и откуда и что мне надо на этой земле, как вдруг птицы высокого полета закружили над моей головой и голова моя пошла кругом...

Журчание фонтанов, арыков, певучие дрозды, грохочущий трамвай “пятерка” и даже типовой, бетонный, крашенный под бронзу Ленин на паперти бывшего Вознесенского собора славили Золотника, держащего путь на восток по направлению к старому казарменному барaku, где жили работники оперного театра и где в самой узенькой комнатенке, заставленной декорациями, заваленной рукописями о собственных подвигах и деяниях, автопортретами, фотографиями, эскизами, лохматыми папками повестей и романов, царил магистр цветной геометрии, гроссмейстер волнистых линий и линейных искусств, великий, наивный и совершенный, так он себя сам называл, художник “дядя Сережа”.

– Быстрее заходи, дверь плотней закрывай, а то кошки набегут, прикормил тут бродяжек молоком, пускай возвращаются к своей богине Фрейе.

Художник усадил Илью на самодельное кресло из старых газет, склеенных костяным клеем, стянутых веревками. Кровать, на которой он спал, сработана была из того же материала.

– Угощайся! – радушно сказал Калмыков.

На кипах газет, прикрытые газетой, стояли кружка молока и тарелка с горбушкой хлеба.

– Газеты – универсальная вещь, скажу я тебе, – и для ума, и для быта. Мухи газет боятся!

Пожелтевшие газеты служили ему рабочим столом, на них он созидал макеты Вавилонских башен, уносящихся в небеса, чертил подземный коридор, ведущий из Алма-Аты в Москву, сочинял “Диссертацию о соединительных швах черепа”, набрасывал к постановке “Князь Игорь” эскизы красной юрты, смахивающей на межпланетный аппарат.

Всюду валялись рисунки со звездными скоплениями и космическими кораблями на оберточной бумаге, сопровождаемые сложнейшими математическими расчетами. А главное – картины, картины на старых клеенках, тарных тряпках, на холстах, уже кем-то использованных.

– Зачем покупать новый холст, когда этого добра в театре навалом, спектакль с репертуара сняли, декорации – на помойку, а я тут как тут, это ж все мои сокровища! Вот только не хватает натуры, да я и есть – своя лучшая натура!

Как раз посреди комнаты, ближе к окну, прикрытому газетами от прямого солнца, стояла незаконченная картина, изображавшая длинноволосого старика с белой бородой в нахлобученной шапке и бедуинских сандалиях, приглашающего Калмыкова на ужин.

– Знакомься, Илия, это Леонардо да Винчи. Сюда ко мне и Тициан заглядывает, и Тинторетто, сидим вечерами, беседуем об искусстве. У каждого из нас внутри бирюзовых глубин живет бог и творит чудеса. И ты заходи, не стесняйся!

– Кстати, – сказал Калмыков, – мне приглянулась твоя туба, будь другом, одолжи мне ее до завтра? Я чувствую в ней частицу своей души. Я нарисую твою трубу в образе бесконечного тоннеля или рога изобилия!

– Знай, – говорил он, провожая Илью, который оставил ему, конечно, свой инструмент, но с каким беспокойным сердцем, – частицу моей души можно встретить среди родников и трав, деревьев и облаков, но суть ее – три стороны камня: это Земля, Огонь и Небо!

– Запомни, Гермес Трисмегист! – рокотал он Илюше вослед. – Художник обязан предъявить собственную модель мироздания, иначе грош ему цена. Смотреть на божий мир глазами дикаря, пронизывать его насквозь, вывернуть к черту наизнанку, как вывернул я свое новое мышинное пальто, подаренное мне в месткоме, распорол по швам и вставил туда разноцветные клинья!..

Ночью Золотник не сомкнул глаз, день прожил как в тумане, еле дождался вечера, смятенно постучал в обшарпанную дверь барака, ему открыл художник, облаченный в золотой балахон, ярко-красные желтые шаровары с золотистыми лампасами, пришитыми фиолетовыми, багровыми нитками, – весь его облик напоминал тропическую игуану с чешуйчатым драконьим гребнем.

За окном его катились то солнце, то луна, вспыхивали и гасли звезды. По стенам и потолку металась калмыковская тень. А на мольберте стояла уже совсем другая картина, втрое больше вчерашней – вместо белобородого Леонардо в центре красовалась туба, но совершенно плоская и, что странно, не потерявшая

медного блеска, вокруг плясали цветные треугольники, овалы и квадраты. Картина звучала, сияла на солнце, прорвавшимся сквозь заклеенное газетой окно, извитые линии вихрились вокруг тубы, геометрические элементы отстукивали чечетку... Но туба на холсте не была нарисована. Расплющенная и прилепленная к подрамнику, она была самая настоящая – та, что Илья Матвеевич имел несчастье оставить этому варвару.

Внизу голубела надпись танцующими прописными буквами:

АПОФЕОЗ СЕРГЕЯ КАЛМЫКОВА

– Входи, громовержец, мечи громы и молнии! – воскликнул Калмыков. – Ты должен отыскать Ключ к Мирозданию, взорвать и прорваться, это я тебе говорю, Человек с Орденом Мухи!

– Что, брат? Покруче Пикассо? Шедевр? – доносилось, как с неведомой планеты, откуда-то издавека-далека, со звездных бескрайних просторов.

Так у Ильи Золотника бесславно оборвалась карьера музыканта, зато распахнулась другая дверь – в изобразительное искусство, куда он шагнул не раздумывая – без малейших колебаний.

...И всю жизнь его тянуло в те места, где волшебная “линька” Заилийского Алатау от снега (снизу вверх – весной и сверху вниз – осенью) была для него лучше всякого театра. А поджоги сухой прошлогодней травы – весенние палы, которые устраивали на склонах Кок-Тюбе мальчишки-пастухи, когда пламя огненными кольцами взбиралось по склонам с такой яростью, что отбрасывало зловещий отблеск на город и наутро Кок-Тюбе («зеленый склон») представал внушающим ужас обугленным «кара-тюбе» (абсолютно «черным»), – потом долго тревожили Золотника ночами.

Он любил болтаться на Зеленом рынке, любоваться алым наливным апортом. О, эти яблоки, краса и гордость Казахстана! Как-то Илья, поднакопив деньжат, послал фанерный ящик с пятью огромными плодами – почти по килограмму каждый! – в Соснинку, порадовать сестрицу с мамой. И эти сказочные яблоки всю зиму наполняли мамин дом чудесным ароматом. Она их берегла, не ела, а

только любовалась, да еще ими потчевала Илью, когда тот приехал на побывку!

Нередко на Зеленом рынке можно было встретить Калмыкова, куда тот захаживал на пленэр в кафтане из парчи, в штанах расцветки петушиного хвоста, с этюдником и холщовой сумкой через плечо. А то и въезжал верхом на вороном коне или на двугорбом верблюде!

Животное под ним всегда шло иноходью, так что не проливалось ни капли вина, которое наливали ему виноделы в обмен на свои портреты. Художник набрасывал их физиономии углем на картонках и раздаривал с песней на устах. Он был сказочно щедр.

Весь этот рынок с древними старушками из Каскелена, продающими медовые груши, агашкой из Каракемера со свежей бараньей тушей, толстухами-молочницами из Маловодного, рыбаками и пасечниками был для учителя и ученика только отражением космоса и живописной натурой, зато неудержимо притягивали к себе уголки вселенной, где торговали изюмом, курагой, орехами узбеки и таджики из кишлаков.

Все перепробуешь, поболтаешь с продавцами и ничего не купишь, а возвратишься в общагу сыт и пьян и нос в табаке.

С какой же радостью – спустя много-много лет – поехал в Алма-Ату Илья Матвеич показывать выставку японских гравюр.

– И сделал выставку – с блеском! – рассказывал он. – Пришлось обрушить на них водопад своего жизнелюбия, полностью не соразмерный моему официальному статусу развесчика картин. Там выставочный зал большой, а без гармошки, какой-то выступ у стены – неясного предназначения, как есть большущий гроб. Я говорю: а можно это ликвидировать? Видели бы вы их растерянные лица! Будто я пришел в Мавзолей, – он понизил голос, – и требую вынести Ильича, хотя бы на время. Я открыл выставку при полном аншлаге, зажег умы и сердца... В горах мне устроили пикник на реке, где я спел песню “Язык любви – язык без слов” Абая на казахском языке. Вот они удивились: приехал из Москвы и вдруг – на казахском запел! В те времена казахи сами-то языка не знали. Кончилось тем, что я был награжден за вклад в национальную казахскую культуру. Собрался коллектив музея, вышел старенький академик в войлочном колпаке и,

возвеличив меня до небес, под гром аплодисментов повесил на грудь медаль. Академик живописи! Здесь он, конечно, не так известен, но там-то! Вы представляете, какой триумф у меня был?

– Илюша – уникал! – подхватывал Осмеркин, глядя на Золотника влюбленными глазами. – Хотя я эту историю слышу в тысячный раз.

Армейскую дружбу они пронесли сквозь года, вообще, их изначально было трое, еще на Балхаше в стройбате служил Мишка Захаров, тонкий ценитель изобразительного искусства, в мирной жизни он подторговывал иконами за границу. В любое время дня и ночи Мишка способен был нагрянуть без звонка к Илюше или Мите – с ящиком шампанского и ананасами. Долг дружбы требовал забросить все дела и с ним гудеть, поскольку он толкнул иностранцам очередную икону и гуляет.

Потом его то ли посадили, то ли он эмигрировал, Илья Матвеич с Митей лишились боевого товарища, но и вдвоем столь упоенно приносили Бахусу дары колосьев, листьев лавров, миртов, что это не всегда благополучно заканчивалось.

– Вчера жена была в гостях, – сокрушался Митя, – ко мне пришел Илья, принес бутылку водки. Мы выпили, принялись вспоминать армию. Илюша побежал за второй. Когда она вернулась, мы лежали на полу, беседовали о том, что главное в творчестве – страдания души или ликование духа, предавались воспоминаниям и плакали. Так эта стерва сгребла его за шкурку и вытолкала за дверь!

С годами что-то пошло не так. Выпьешь, говорил Золотник, и никакой радости, только сонливость, хандра, ярко выраженная мерехлюндия. Он стал к себе прислушиваться, присматриваться, долго наблюдал и пришел к такому выводу:

– То ли водка стала дрянь, то ли я спиваюсь. А как я могу спиться? Я всю жизнь пью, это для меня норма.

Тогда Илья Матвеич вот что придумал: берет и завязывает... до новогодних празднеств.

– Нет, я не буду пить, – говорил он, если кто-то его пытался искусить раньше времени. – Только если меня зазовут в подворотню и скажут: у нас тут

“Наполеон” пятнадцатилетней выдержки. Будешь? Тогда.

Зато в новогоднюю ночь выпивает, что под руку попадет, и – уже начинает продолжать, совмещая вселенские просторы с земными пристрастиями.

Поблизости у нас был винный, весьма изобильный, где можно было разжиться не только “белой головкой”, перцовкой, зубровкой, “Петром Смирновым”, но и старым бургундским, и черным английским ромом.

– После перерыва ты ощущаешь весь букет вин, тончайший аромат, и вкус, и послевкусие, – делился впечатлениями Золотник. – И на этом фоне очень благоприятно воздействует на организм швепс.

Но скоро Илья Матвеич опять погружался в меланхолию, сторонился мира, ничего не ел, был какой-то безвольный и совершенно подавленный.

– Сегодня я не мог ходить по делам. Сегодня сыро. – Он перед кем-то оправдывался по телефону.

– Жизнь-то тяжела, тяжела жизнь, – бормотал он в такие дни. – Да, жизнь тяжела. Но, к счастью, коротка...

Помню его пристальный взгляд, обращенный в никуда, в нем отражался приморский городок, ставший для него чудом, Евпатория, где обитала нежность бабушки и дедушки, их удивительно трогательная любовь, соединенная с теплом солнца, линией морской волны, чистотой песочных пляжей и волшебной архитектурой...

И снова подкрадывалась праздничная дата, и он завязывал до... Первомая или годовщины Октября. Благодаря такой методе Илья Матвеич продержался на плаву еще несколько лет, выставя на пути вешки, бражничая с Митей, распевая песни родоначальника казахской литературы.

Он срывался с якорей, искал на свою голову приключений, осваивал новые сферы деятельности (“Даже рутинная работа приносит мне и радость, и удовлетворение!”), пока не сменил решительно все, чем тешилась его душа, на самоуглубление и покой.

– ...И распроклятое “мулевание”! – с негодованием отзывались о священнодействии Золотника Зинуля с Надей, буквально со свету сживаемые терпким духом скипидара и масляных красок. При этом бойкие сушеные кузнечики из прерий Амазонки всегда подчеркивали, что не питают отвращения лично к Илюше, а только к роду его бессмысленных и даже вредных занятий.

Весной и осенью Ильей Матвеичем овладевали демоны, они навеивали страхи и тревоги, какие-то особенно мрачные думы, однажды эти черти полосатые подсунули ему вместо портвейна скипидар, слава богу, друг Осмеркин вовремя раскрыл их злые козни!

Тогда к нему приходила старшая сестра с племянником Вовкой, тощим пареньком, стриженным почти налысо, с челочкой по линейке, и начинались нехитрые сборы в психбольницу: из ванной в комнату переплывали мыло в мыльнице, зубная щетка, с кухни – ложка и кружка... В газету заворачивались тапки.

– Почему у меня всего один коричневый носок? – громогласно вопрошал Золотник. – Я пока не собираюсь лишаться ноги!

– А где моя обычная черная шапочка? – гремело на весь коридор. – А то в этой шапке у меня вид человека не от мира сего. Какого-то героя из Жюль Верна – жителя Луны...

И снова по комнатам разносилось:

– Подай-ка мои брюки цвета “зеленое золото”?

Главное, не бутылочный, не болотный, не еловый, не крыжовенный – вынь ему да положи “зеленое золото”! И, принарядившись, с фанерным чемоданчиком, хотелось бы сказать – сопровождаемый многодневным пышным шествием с участием сотен храмовых слонов, горнистов, барабанщиков, факельщиков и знаменосцев, – но увы! Под приглядом своей малочисленной, бесцветной родни и сочувственные возгласы соседей художник Золотник смиренно отправлялся в “Кашенку” – сдаваться.

Однажды я увидела его в книжном на Садовой, куда мы с Флавием заскочили глянуть, есть ли там моя книга, на закате второго тысячелетия у меня вышел маленький роман о любви.

В эту вещицу Флавий внес колоссальный вклад. Каждый вечер он звонил и спрашивал:

– Роман-то пишешь? Ну, пиши-пиши...

Это был могучий стимул для поступательного движения.

Еще он говорил:

– Не забывай: где есть лучшие куски, обязательно должны быть и худшие. Иначе как поймешь, что вот эти лучшие – без худших? Даже если худших нет – их надо специально написать!

Бывало, прочитаешь ему кусочек, совсем короткий, чтобы не испытывать терпение.

А Флавий:

– Тебе нужно создать такого героя – поэта, возвышенную душу, у которого метеоризм. Он с гордостью объявляет об этом во всеуслышание как о чем-то космическом. “У меня такой метеоризм, – говорит, – что я просто летаю. Я могу улететь в небо, как ракета, и вы все еще пожалеете обо мне, что был такой поэт, а вы его не ценили. И вот он улетел...” Капусты наелся.

Я говорю:

– Ты так тонко чувствуешь, зорко видишь...

А он:

– Просто есть банальности, как камешек обыкновенный, и все зависит – под каким освещением его подать. Есть необыкновенное, которое необыкновенно – при любом освещении. А есть обыкновенное серое, вот этого я очень не люблю.

Его как откроешь – сразу видно.

Такая у меня была подбадривающая трость Гуйшаня.

Мне в апофеозе никак не удавалась любовная сцена, на что я пожаловалась Флавию.

– Запомни, – сказал он, – центр эпоса – это огромный вздыбленный хер. Остальное вертится вокруг и на него нанизывается – кино, цветы, взгляды, всплески. У тебя же – наоборот: всё вокруг, а центра нету! Не доходит до сердцевины. Да в тебе и самой сплошь лирическое начало, ни черта эпического!

– Господи, – я отвечала, – дай немного эпического начала взамен лирического...

– Эпическое – вот здесь. – И Флавий с достоинством указал на свое причинное место. – Учти, я готов тебя исцелить – из альтруизма, конечно, не пойми меня превратно.

А пока суд да дело, засучил рукава и самолично описал финальную сцену соития героини и ангела, по мне, так лучшую в истории мировой литературы.

– ...Ты самая незначительная писательница в мире, – констатировал Флавий. – Твоих книг тут нет. Зато целая полка про Гитлера, пять полок про Сталина. Полка Проханова, Лимонова собрание сочинений. Сплошь националистическая литература. Везде поучения – как быть русскими, “русское превыше всего” и что следует предпринять, чтобы встать с колен. И это в таком магазине, уважаемом! Какие-то непонятные издательства с антиамериканскими настроениями, всех разоблачают, особенно либералов и западников... Кошмар. Видно, как идет планомерная пропаганда этого дела. Что тут стряслось? Сменилось руководство? Может, теперь в книжном магазине директор – фашист? Ладно, пойду в детский отдел, отдышусь над “Щедрым деревом” Шела Силверстайна, немного успокоюсь...

Он спустился вниз, а я свернула в любимый “бук” и увидела там Золотника. Я как-то сразу его узнала – со спины, хотя мы давным-давно переехали с Николоямской и не виделись лет двадцать пять. Он стоял, ссутулившись, в старом – с тех еще времен – чесучовом пиджаке блошиного цвета, очень модных прежде штиблетах с длинными носами, немного приподнятыми кверху, – кто-то

отдал ему свои, покрытые пылью дорог; на экваторе Золотника я обнаружила мешковатые, с детства знакомые брюки – бывшее “зеленое золото”! И хотя венчала все вышеописанное, черт побери, та самая шапочка, в которой – и только в ней! – он ощущал себя землянином, – сомнений не оставалось, что этот человек свалился с Луны.

Вооружившись лупой, Илья Матвеич склонился над старинным фолиантом, раскрытым на главе “Черепь”, сосредоточенно исследуя храм черепного свода – монолитный, словно капля воды, спаянный из обилия косточек и пластинок. О, эти названия швов Божественного Портного: венечный, стреловидный... Сложнейшая мозаика совокупности – вовсе не то, что шутил один писатель, инженер человеческих душ: “Череп *Homo sapiens* состоит из двух частей – небольшой нижней челюсти и очень большой – верхней”.

Золотник шевелил африканскими губами, чуть слышно артикулируя: наружный затылочный гребень, крылонёбная ямка... Чешучайчатая, барабанная, скалистая доли височной кости... Микеланджело в анатомичке! Бедный Йорик... Зачем ему понадобился скелет головы – при его бесхребетных видениях?

Когда-то он считал себя реалистом, о чем свидетельствовало крупное многофигурное полотно “День рождения Иисуса Христа”, написанное с космическим размахом, снятое с подрамника, свернутое в рулон, спрятанное за шкафом. Илья Матвеич называл его пробой кисти в византийском стиле.

А между книжными полками, затертая, словно корабль во льдах, обреталась жизненная картина “Элен падает в пропасть”, с преобладанием пламенеющего розового, фиолетового и зеленого, переходящего в изумруд, – красок его палитры, рожденных первой военной зимой.

Розовый открылся в Чапаевске, в эвакуации. Илье было два с половиной года, когда недалеко от дома, где они жили с мамой и сестрой, взорвался химический завод. Волной отбросило кровать от окна к стене, и маленький Илья Матвеич, как ни странно, живой и невредимый, смотрел на зарево пожара, не чувствуя ни страха, ни угрозы, переживая торжество огненно-розовой стихии.

Фиолетовым было свечение сигнального фонарика, который подарил ему летчик-отец, отправляясь на фронт. Илья то зажигал фонарик, то гасил, пока не сломал рычажок. Отец рассердился, назвал его скверным мальчишкой.

Обиженный, тот забрался под кровать и даже не вылез попрощаться, о чем жалел до конца своих дней.

А изумрудным – бархатное пальто соседской девочки, приехавшей в эвакуацию из Ленинграда, первой любви Ильи Матвеича, оставившей неизгладимый след в его душе.

Вспомнилась комната Золотника, поражавшая непритязательностью на фоне духовного богатства ее обитателя. Масляная краска стен в уборной “абрикосовки”, пыльная пирамида картонных коробок с изношенной в стельку обувью над унитазом, грозившая обрушиться на голову беззащитного визитера (да еще Гарри забрал с расформированной лыжной базы восемь ящиков старых бесхозных ботинок – вдруг пригодятся).

Перед глазами поплыли обломки повседневности: мамины кофейные чашечки и тарелка для десерта, ее прозрачная фиалковая ваза, то, к чему она так часто прикасалась, птичье оперение синиц и снегирей, Сонечка сыпала им хлебные крошки на подоконник, а прилетали жирные голуби и все сметали, – того нашего бытования, где так естественно уживались коммунальный дух и Универсум.

– Как интересно... – говорю. Разволновавшись, я стояла так близко, чуть не касаясь его плеча. – Что это за книга, Илья Матвеич?

– “Атлас описательной анатомии человека”, – ответил он, как глухой барабан, и все же не очень медленно и не очень уж тихо. – Знаете, что, считал Марк Аврелий, находится вовне? Лишь немного крови, несколько костей, сплетенье нервов и сосудов, немного воздуха... – Золотник не то что бы вовсе не взглянул на меня, но как-то мельком, а ведь я назвала его по имени. – А что находится внутри? – проговорил, не отрываясь от завораживающей архитектоники черепной коробки. – Чувства, образы туманные и неочерченные, душевная субстанция, сновиденья, призраки... – И он окончательно погрузился в свой уединенный мир.

Я постояла еще немного, потом повернулась и со смятенным сердцем побрела прочь.

Я шла по Садовой, окруженная воспоминаниями, всегда имевшими для меня первостепенное значение. В голове вспыхивали какие-то картины прошлого,

гасли и возникали другие, причем в мельчайших подробностях, – наш старый двор, желуди, сережки, перья фазана (соседи иногда несли по двору с рынка, надо было выпросить), решетка ворот, дверные ручки подъездов (отполированная ладонями медь), парадная – там на втором этаже целовались влюбленные, страшная черная лестница, Надя с Зинулей по привычке пользовались исключительно черным ходом, отправляясь в Покровский храм на утреню, обедню или просто вознести благодарение Господу за прожитую жизнь.

Это нахлынуло на меня, окатило, ударило, словно каруселью по башке, свирель моя скорбной голубкой тоскует на чуждых реках Вавилона... – слышалось невесть откуда или во мне самой, я не разобрала, да только душа моя вырвалась на свободу и понеслась догонять вчерашний день. Тот пятился, ускользал, отступал дальше и дальше, ни за какой его не ухватишь хвост, а тебе оставалось только оплакивание или воспевание того, что было.

– Ах, она дома, наконец-то??? – слышался в трубке трагический голос Флавия. – А я ей уже двадцать раз звонил! Что это было? Ты как сквозь землю провалилась! Я облазил углы и закоулки! Просил объявить на весь магазин, что жду тебя под лестницей! Мне говорят: “Стойте и никуда не уходите!” Я встал и ждал ее целый час, бог знает что передумал! Мне стало с сердцем нехорошо! Я всегда верил в твой разум, а после того, как ты просто УШЛА, оставив меня одного, весь твой образ, веками создававшийся, рухнул в моих глазах! Да-да-да! Теперь я от тебя ожидаю чего угодно! Любого абсурда! Все вертятся, все мотаются. На меня уже стали коситься охранники. Потом я опять пошел тебя объявлять. Они тебя объявляли три раза!!! А я все ждал-ждал-ждал, я чуть с ума не сошел! Главное, по радио постоянно рекламировали роман Коэльо, как у одного человека пропала жена! Мне стали разные ужасы мерещиться, в голову полезли триллеры, я вдруг подумал, что я скажу ее мужу, когда он вылезет наконец из пещеры? Зашли в книжный магазин, и она пропала? Полумертвый от страха, я побежал, купил карточку телефонную. Позвонил маме: Райка не звонила? Не звонила. Вернулся обратно в книжный: “Нет?” – “Нет”. Я ждал еще час, не верил своим глазам, что ты исчезла. Чего я только не передумал за это время, я думал, что тебя похитили – за выкуп!

(Это был единственный человек в моей жизни, который всерьез опасался, что меня похитят...)

Флавий свирепствовал, как тигр, и мне пришлось долго ждать, пока он сменил гнев на милость и сказал:

– Пора заводить мобильник...

Не знаю, что он во мне нашел? С виду я ничего особенного, а Флавий харизматик, Высший Путь Светоносного Совершенства, он в институте, где мы учились, педагогическом, имени Крупской, специально в портфеле таскал кирпичи, чтобы стать семижильным бугаем (потом решил, что это фигня, куда лучше ходить налегке и быть атлетом духа). А там же сплошь девушки неземной красоты, готовые на все ради его одобрительной улыбки. Нет, именно ко мне взбрендило сыну Амори Первого и венценосной Агнес обратиться – нагнувшись, попросить огонька в курилке под лестницей, после чего произнести серьезно и деловито:

– Надеюсь, ты мне дашь?

– А у меня нет, – ответила я, не вдаваясь.

– Дай то, чего нет, – сказал он и так на меня посмотрел... Клянусь, в этом взгляде не было ничего, кроме мягкости, сострадания и любви.

Мириады невидимых нитей были протянуты, чтобы мы встретились с ним в тот день и час под лестницей в курилке, хотя ни до, ни после он не курил и не пил вина, те, кто очень любил его, а я была в их числе, помнят легкость его шагов, расфокусированный взгляд и какие-то парадоксальные фразы типа: “Я как раз тот человек, который вам не нужен...”

Он любил танцевать со стариками на танцплощадке, они его обожали, правда, многие из них совершенно выжили из ума, но он относился к ним по-доброму, щеки у Флавия были часто вымазаны губной помадой, это его осыпала поцелуями безумная Марго, которая подчаливала на танцы в полосатых трико и, отплясывая, кричала “....!!!” на все Сокольники.

– Только моя природная скромность мешает мне признать себя величайшим из живущих (да и умерших, что уж там!) танцоров, а также писателей и вообще, –

говорил Флавий.

– Танцору всегда скромность мешает...

Мы гуляли с ним в парке – выберем подходящую погоду и гуляем.

Февраль, золотой закат, потом сумерки, небо черное звездное, сверкающий месяц, Марс огромный и Сириус. Вдруг метеорит – очень быстрый, за ним второй – в полнеба рваная рана темноты, полыхание до верхушек сосен.

Флавий – с надеждой:

– Сейчас где-нибудь – бум! – совсем рядом...

Или апрель, чистые деревья, грязные дороги, снег еще меж стволами, темный лед (“Весной мы уже погуляли, теперь погуляем летом, таким людям, как мы с тобой, надо встречаться четыре раза в год – летом, осенью, зимой и весной”).

У него была привычка согревать пломбир в кармане брюк до мягкой консистенции. Он боялся охладить горло.

– Ты не забыл о мороженом? – я спрашивала, когда мы стояли, обнявшись под сенью цветущих лип.

– Когда я обнимаю тебя, то обо всем забываю.

– ...Ты ко мне приходи, – говорил он. – Посмотришь, где я сплю на балконе в тени тополя, мама говорит, его надо спилить, а то темно. А я против.

– Тебе что-нибудь принести? – я спрашивала.

– Принеси мне ничего.

В окне раскачиваются тополиные ветки, стучат по стеклу. Агнесса права, это не тополь, а баобаб, еще немного, и он заполонит всю квартиру. На вешалке клетчатые рубашки. Тонкий жесткий матрасик на полу. Миска черешни из

холодильника. Тарелка смородины. Проигрыватель и виниловые пластинки в конвертах (“Давно хотел завести тебе Пьявко, люблю ему подпевать... Когда-а я на почте служи-ил ямщику-ом...”).

– Иногда я думаю, – говорил Флавий, – чего у меня в жизни нет? Все есть, чего ни пожелай. Вот – музыка. Зачем мне куда-то идти? Тратить деньги, искать-выбирать, когда радио включил – и вот она музыка – ЛЮБАЯ! Все есть, просто все! ТЫ ХОТЬ ПОНИМАЕШЬ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ???

Флавий – близнец, и, что интересно, явился на свет не сразу после Сибиллы, а только на следующий день. (“Думал, обойдется...” – он мне потом говорил.) Наутро его обнаружили: “Да там еще один!” – и в принудительном порядке попросили на выход.

Институт он бросил. Дождавшись момента, когда его отец Амори Первый занялся укреплением связей Иерусалима с Византией и оба государства начали совместное вторжение в Египет, с виду показавшийся им легкой добычей, Флавий забрал документы из деканата и стал с наслаждением околачивать груши. Но тут же загремел в армию.

Агнес, к тому моменту покинутая Амори по требованию Иерусалимского патриарха, протоптала дорожку в военкомат, кланялась, обивала пороги, осыпала военкома фамильными драгоценностями – лишь бы ее сына, официального наследника престола, оставили служить в Москве или Московской области.

– Капитан Кочерга, – она рассказывала певуче, – вполне вменяемый человек, умный, доброжелательный, даже интеллигентный, только после каждого слова добавляет: “Понял-нет?”

А она ему – билеты на выставку Филонова-Кандинского-Репина (“Чтобы вам, Иван Иванович, с супругой – при вашем плотном графике – не простаивать в очередях!”), долгие беседы вела с военкомом о Страшном суде в эсхатологии авраамических религий, военком терпеливо выслушивал ее библейские пророчества, что недалек тот час, когда Христос явится во славе своей и спящие в прахе земли пробудятся... Причем творящие беззаконие, – Агнес устремляла на капитана красноречивый взгляд, – услышат такие слова: “Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его!” Все эти

страсти Господни она произносила профессиональным, хорошо поставленным голосом – десятилетия работы экскурсоводом в Третьяковской галерее не пропали даром.

Видимо, ее старания возымели действие. По уралам да казахстанам стремно трястись по степи, кого там волнует, что ты с краю и можешь вывалиться... В поезде то холодно, то жарко, неделя, вторая в пути, ту-дух, ту-дух – Флавия послали на самую крайнюю точку ойкумены, где ни людей, ни зверей, ни травы...

– И наверняка это время для него было самое счастливое, – говорил мой муж Федя. – Там он сформировался как человек, там друзья, товарищи, там он женился в первый раз, там было главное. А теперь – так, ничего особенного. Все уже не то.

Федор дневал и ночевал в подмосковных каменоломнях, где я его и встретила, по воле случая за кем-то увязавшись. Это было убежище даосских подвижников, они философствовали, пили, курили и предавались грезам.

Все были пьяные, веселые, Федя разливал по кружкам глинтвейн, сочиненный им в алюминиевой кастрюле из “Солнцедара” с гвоздикой, мускатным орехом, корицей, лавровым листом, перцем и яблоком – на керогазе. Вытащил из рюкзака рыбную нарезку домашнего приготовления – красную кету и ослепительный плод лимона.

В памяти всплыла скумбрия Золотника, да и сам Илья Матвеич, кроткий, полноводный и неуправляемый мирской суетой, даже, на мой взгляд, хвативший через край в своем отречении от личных уз и честолюбивых замыслов – на тот момент он работал макетчиком.

– Счастье, друзья, в этом лучшем из миров быть макетчиком, простым макетчиком, – восклицал он. – Вольной птицей, неподвластной министерству культуры! Кстати, это редкая профессия, все равно что скрипичные мастера. Втиснуться туда невозможно, но я-то все-таки шишка! Тебя можно назвать куратором, можно скульптором цеха, и ты весь под колпаком у министерства. А с макетчика никакого спросу, но вершит он великие дела. Я вам расскажу кульминацию: когда на Новодевичьем кладбище хоронили Шаляпина, я ему сделал на могилу портрет.

Это производило ошеломляющий эффект, у всех шарик за ролик: как так? Шляпину! На могилу! Сколько ж лет ему? И когда Шляпин-то умер?

– Я получил маленькую старинную фотографию, – продолжал Золотник, не опускаясь до объяснений, – увеличил, отреставрировал, напечатал, сделал рамку. Вдруг выяснилось, что, кроме этой фотографии, нечего нести перед гробом. Ее несли как хоругвь перед похоронной процессией, я по телевизору видел. Я такую сделал пуленепробиваемую и водонепроницаемую вещь! Мир рухнет – она и с места не сдвинется!

Словом, режет Федя лимон, и какое-то странное амбре сопровождает каждое его движение.

– А рыбка-то с душком! – сказала я.

– Не то слово! – ответил Федор. – Кета засолена в анчоусном соусе, он издает черемуховый запах. Так солят рыбу ханты. Иногда они обходятся без анчоусов, а просто в землю закапывают, чтобы созрела. Раньше я у них за бутылку выменивал красную рыбу и ел. Теперь они дружно поклоняются мамоне. А тогда просто спрашивали: бутылка есть?

Мы разговорились. Федя поведал мне, что собрался каталогизировать все на свете: штошки, сифоны, штольни, подземные города, каменные коридоры – продольные и поперечные, особенно бездонные колодцы, пронизывающие насквозь Землю.

– Если нырнешь в тот колодец, – он показал на соседний грот, – вылезешь из черных провалов Техаса или из шкуродеров горы Фавор в Галилее... Типа того.

Он чертил схемы и лабиринты, развертки-сечения; залы, развилки, пролеты и горные своды Федя прикидывал на глаз, у него был хороший глазомер. Малые – распознавал частями собственного тела: он знал свой рост с поднятой рукой, “локоть”, расстояние между растопыренными большим пальцем и мизинцем, не будем продолжать, а то перечисление инструментария Федора дойдет до абсурда.

Все у него было задокументировано на листах-пикетах, утрамбовано в картонные папки, завязано тесемками и заброшено на антресоли. Ибо суть его странствий была в другом. Он искал исключительно сердцевину мира, пуп земли.

Это обстоятельство да еще моя слабость к аргументам из области иррационального совершенно вскружили мне голову и укрепили в мысли, что Федька – достойный предмет для моего поклонения, что в нем заключена стихия сверхчеловеческой силы и красоты.

Федор мной тоже заинтересовался, так мне по простоте сердечной показалось, хотя в этом пылком взоре трезвый человек углядел бы, как бегут, разветвляясь, шахты и тоннели, канализационные люки оборачиваются озерными пещерами, хранящими древние артефакты, секреты канувшей Атлантиды, останки неопознанного моллюска, индейские мумии, кости рысей и гиен... Словом, наша встреча положила начало дружбе, стремительно переросшей в совместное бытие.

Пришлось мне унять свой нюх, ибо, когда Федя приступал к обработке полевых материалов, на всю квартиру неумолимо распространялся смрадный запах анчоусного соуса.

– Ты прям как Иоганн Вольфганг Гёте, – я говорила, густо перемешивая зловоние анчоусов с терпким ароматом индийских благовоний – сандала, мирры и пачулей, – он мог сочинять стихи, только если пахло гнилыми яблоками!

– Во-во! – отзывался Федька.

Дело докатилось до районного ЗАГСа, куда мой жених – неумный исследователь подземных глубин, хтонических миров, обратной стороны Луны – явился в комбинезоне, перемазанном глиной, и в каске с велосипедным фонарем, в луче которого металась летучая мышь, остроухая ночница.

Все были ошарашены моим избранником, особенно отец Абрикосов.

– Дорогой друг, – он говорил Федору, – Земля вам не червивый плод, внутри у нее непробиваемое ядро, окутанное кипящей оболочкой, и три тысячи километров раскаленной мантии, пышущей жаром, лишь на макушке – тонкая

земная корка.

– Это неопровержимо и недоказуемо! – благодушно замечал Федя.

Спорам положил конец Павел, явившись на свет в одно прекрасное утро, и, как говорится, обычная дорога за забором, которая ведет в провинцию Теань, пути птиц в воздухе, и пути птиц в воде, и пути мыслей в наших головах вели теперь не к центру Земли, а совсем в другом направлении.

И только Федор упрямо не сворачивал со своей каменистой тропы, он шел, шел и шел, словно в этих лишенных дневного света коридорах нельзя остановиться дольше чем на минуту, двигаясь к цели, которая находится за пределами человеческого воображения.

Я написала Флавию о бурных событиях моей жизни, думала, он будет рвать и метать и осыпать меня упреками. Однако на мое длинное сбивчивое послание он ответил фотографией безбрежной морской глади и единственной фразой:

– Сегодня Средиземное море было таким.

Пуп вселенной

Жизнь на земной коре тяготила Федора. Хлебом его не корми, подавай заброшенный пустырь и черную кротовину, где можно спрятаться и забыться от всех человеческих тревог, – полужаросшую карстовую полость посреди юрских известняков, обвальные гроты, термальные воды и сам этот воздух пещерный, который вдыхал он полной грудью с неизъяснимым наслаждением.

– Там очень воздух полезный, особенно тем, у кого коклюш или бронхит! Плохой и сухой кашель в пещере становится правильным и хорошим благодаря абсолютному отсутствию патогенных организмов! – объяснял он годовалому Пашке. – Запомни, ужик: никакая микстура так не способствует отделению

мокроты, как влажный воздух пещер! Там легче дышится, привольней, не давит примитивный мир. И жизнь течет по совсем другим законам!

Где тот ясный свет единения, когда люди ни минуты не могут жить друг без друга? Павлу два с половиной года, его ровесники болтают обо всем на свете, а наш только: “Где Федя?” И больше ничего.

Павел играл в песочнице, сломал руку в двух местах, ему делали операцию, вставляли две спицы. Соня вернулась в слезах из детской поликлиники.

– По коридору один бегал – на голову ниже Павлика и на месяц младше, – орал своей бабушке на всю поликлинику: “Я тебе голову оторву!”, – она с завистью рассказывала. – И так хорошо “р”, стервец, выговаривал. Нашему бы такую дикцию!

Летом сидели на даче в Шатуре – кругом клубы дыма, горят торфяники... А Флавий для Пашки сочинил сказку про пиратов. Естественно, тот стал записным пиратом: черная повязка на глазу, треуголка джентльмена удачи. Но, убей бог, не мог запомнить пиратское здрасьте: “Кошелек или жизнь!”

Вдруг приехал Федор, открывает калитку, и тут – весь в дыму – выскакивает Пашка из кустов – с палкой, с перевязанной рукой – и кричит:

– Давай деньги, гад!!!

Мы так были рады ему – нажарили груздей с валуями!

– Вы бы еще мухоморов туда добавили и бледных поганок, – удивлялся Федор.

И хотя меня доканывали мелкие бытовые проблемы: канарейку съел соседский кот, черепаха удрала, ночью своровали яблоню с яблоками (раньше яблоки воровали, а теперь яблони!), – я была до того счастлива в то лето, будто оно последнее в моей жизни. От всего – от неба, от земли, от листьев и травы, от чистого существования кузнечика, громыханья колодезной цепи, хрупкого гнезда трясогузки под стрехой, стрекота сорок.

Сороки с жадностью пожирали нашу облепиху. Ветки тонкие, гибкие, все в колючках, а им нипочем, знай орудуют клювом. Скок-поскок – и балансирует на веточке хвостом. Вылезет голова сорочья, иссиня-черная, а в клюве оранжевая ягода облепихи.

Соседка Клава – богатырь-печница, кастрюли супа мне передает через забор. На второе – запеченные грибы с картошкой. Никто ее не просит, исключительно по зову сердца. Одного не понимаю: как ей приходит в голову, что в моем случае это в самый раз? Например, я – притащу кому-нибудь кастрюлю супа, все только выразят недоумение. А мне – пожалуйста, я принимаю с жаркой благодарностью, ну разве что однажды она добавила гусиного жира знакомого нам гуся в суп, и то мы съели все с большим аппетитом.

Притом нельзя сказать, что Клава – одинокая волчица, у нее гражданский муж – драчун и алкоголик, бывший работник государственной безопасности Свищ, сколько раз я ей под глазом рисовала йодом сеточки и угощала чаем с коньяком и анальгином с димедролом! Она Свища поит-кормит-одевает, а он – то пьяный с крыши упал, то в нашей низенькой светелке, когда Клава прочищала дымоход, провалился в подпол и орал благим матом, или выйдет на большую дорогу – ругается, дерется, кричит Клаве, что ему “любая даст”, в такие минуты лучше не попадаться ему под горячую руку.

– Что ж ты ему не засветишь, – говорю, – ты же кирпичи ворочаешь?!

– Ты с ума сошла, – она мне отвечает, – разве я могу ударить мужика? Тем более в возрасте. Я если ударю – он и не встанет.

Один мой папочка в состоянии утихомирить эту разбушевавшуюся стихию.

– Вот наш сосед Еремей Васильевич, – торжественно представляет отец Абрикосов этого дромадера кому-нибудь из своих гостей. – Он нам лук сажал!

– Что лук, я людей сажал! – с гордостью откликается Свищ.

Соседи справа тоже золотые. Раньше там жили согбенная старуха Нюра Паскина и Витька, Нюрин сын. Витя ко мне был равнодушен: то ежика нам принесет посмотреть, то продемонстрирует щенка с мертвой хваткой.

– У него укус – сорок пять атмосфер! – он гордо сообщал.

Свищ, пьяный, из-под забора:

– Вырастет – тебе горло перегрызет.

– Если он мне перегрызет, я ему тоже перегрызу, – достойно отвечал Виктор.

Витя не мог просто так прийти поболтать, у него был ограниченный запас слов, который он целиком расходовал в шумных скандалах с Нюрой, – меня ему надо было обязательно чем-то удивить.

Как-то он посадил возле дома кедрик и стал ждать шишек. Пролетали годы, кедр у него вымахал высокий, разлапистый, шевелил иголками на ветру, ствол горел на закате. А весной, когда Витя умер, появились шишки. Нюра сокрушалась: как так? Витюшка шишек не дождался.

Потом Нюру тоже призвали небесные селения, в доме Паскиных воцарились Горожанкины, геолог и скрипачка из Дербента, Ирка с Валериком, перебрались поближе к Москве. И с места в карьер, не разобравшись, что мы за люди, кинулись одаривать меня овощами “для рагу”: кочаны капусты, кабачки, морковки, пакеты с картошкой – причем предварительно помытой! – так и перекочевывали к нам от этих богов плодородия.

Со Свищем сложно отыскать общий интерес, а Федька – спелеолог, родная Горожанкину душа.

– Федь, я баньку затопил, иди попарься! – махал Валерик со своего огорода.

Федор нахлобучит белую войлочную шляпу с бахромой (в ней папочка элегантно прогуливался когда-то в Алушке-Саре), прихватит свежие трусы и спустя некоторое время, чистый, непорочный, сияющий, зовет меня посетить этот, можно сказать, музей.

Горожанкины камешков натащали, шатурских, с выщербинками да корявинками, стены и потолок обили дощечками. А Федя капнет пихтового масла на раскаленную печь, плескнет водой из эмалированной кружки:

– Ну, Райка, – скажет, исчезая в клубах пара, – теперь с тебя хлынет пот ручьями.

Выйдет и подопрет дверь табуреткой.

Распаренная, упакованная в простыню с лебедями, словно Махатма Ганди, по башмакам на крыльце обнаружишь Федьку пирующим у Горожанкиных: они шпроты из холодильника достанут, нажарят подберезовиков, на столе запеченный в сметане карась, выловленный Валериком на рассвете из Витаминного прудика, и гвоздь программы – “Камю” двадцатилетней выдержки, преподнесенный сватьей, Изабеллой Митрофановной, женой капитана дальнего плавания корабля “Максим Горький” Ираклия Дондуа, тот из загранки всегда привозил на всю родню французского коньяка.

– Ир, сыграй, что ли, “Лебедя” Сен-Санса! – скажешь, утомленная едой и радостью встречи.

Ирка достанет из шкафа футляр, где томится старинная скрипка-тиролька аж восемнадцатого века, позабытая-позаброшенная с тех пор, как ее хозяйка уволилась из симфонического оркестра.

– А когда луна восходит, неужели не хочется выйти и заиграть “Лунную сонату”? – простодушно спрашивал Федор.

Нет, одна она не желала играть – а только с оркестром.

– Где ж мы тебе тут оркестр возьмем? – возмущался Валерик.

Вынешь из футляра скрипку – та сразу потеплеет, оживет, легонько завибрирует, – готовый экспонат для музея имени Михаила Ивановича Глинки, где наш Илья Матвеич служил непродолжительное время плотником.

– Вот эти руки, – говорил он и протягивал свои как бы натруженные пухлые ладони с коротенькими пальцами, – держали скрипки выдающихся Амати и Гварнери, не говоря о Страдивари, преподнесенной Ойстраху бельгийской королевой...

Он лично устанавливал это сокровище в центральную витрину. Все Ойстрахи мира прибыли на церемонию. Илья Матвеич надевает белые перчатки – внутри стеклянного шкафчика у него заранее приготовлен крепез и хомут. К восхищению собравшихся он торжественно водружает ее на прозрачную полочку. После чего из нагрудного кармана извлекает ослепительно белый платок и обтирает платком деку скрипки, чтобы на корпусе не оставалось следов, это вредно для лака.

– Ойстрахи замерли, – рассказывал Золотник. – Им было ясно, что я удалил жир. Всё. Небрежно бросаю платок на рояль, и хранительница крошечным ключиком под аплодисменты закрывает витрину...

Ночью огромная круглая луна взошла над нашей 2-й Ленинградской улицей, и чарующие звуки скрипки поплыли ей навстречу, плавно огибая накрытые полиэтиленом стожки, с ветки на ветку взбираясь на Витюшкин кедр, просачиваясь сквозь иголки, покачивая кедровыми шишками.

Это Ира между картофельных грядок играла на тирольке “Лунную сонату” Бетховена.

Когда Флавий возвратился из армии, сиятельный отец Амори данной ему небесами державой восстановил его в пединституте. Тем временем я устроилась училкой младших классов в районную школу.

А ведь все детство мать моя, Сонечка, участковый терапевт, водила меня в кружок хореографии – из чисто утилитарных соображений: заставить ребенка расправить плечи, а то ей казалось, что я живу с опущенными крыльями.

С первого класса мне сшили синюю в полоску сатиновую подушечку с белой фасолью, которую Соня потребовала держать на макушке чуть не до выпускного бала. Сдвинутые позвонки, говорила она, пережимают кровеносные сосуды, головной мозг недополучает питательные вещества. В итоге – низкая самооценка, лень, повесничанье, хамство и бронхиты.

Студию вела Ида Кармен, бывшая балерина семидесяти семи лет, сухопарая, волосы на затылке стянуты в пучок, юбка у нее была “карандаш с разрезом”, чтобы не сковывать движений, ровная спина, подбородок параллельно полу –

Бонапарт Наполеон проводит военные учения на плацу, готовится к очередной военной кампании:

– Батман тандю!

– Батман фраппе...

– Пор де бра!

– Деми плие!..

– Фондю вперед! Выше голову!

– Фондю назад! Тянем носок! Тянем!! Тянем!!!

На меня, увы, никто не возлагал надежд, у центрального станка тренировались тонконогие грациозные фламинго: ребра, ключицы, высокий подъем, тонкая щиколотка, парящие руки-крылья, развернутое бедро и аккуратная головка на гибкой шее.

– Голова должна быть маленькой! – безапелляционно заявляла Ида, неодобрительно косясь на мой самовар.

Зато у меня лучше всех получалось *marche pas* – “топанье по залу” – с моим-то плоскостопием, продольным и поперечным! И как это ни парадоксально – “воздушный шар” (*ballon*): подпрыгнув, зависать в воздухе, пучить бельмы и выкидывать разные коленца под хохот будущих солисток, а то и, чем черт не шутит, прим.

Каково же было удивление Сони, когда на вопрос нашей знойной Кармен “Кто хочет стать балериной, когда вырастет?” из всех сильфид и воздушных созданий, очумевших от бесконечных батманов, “лягушек” и шпагатов, ни секунды не раздумывая, поднял руку один толстопопый коротыш – ее дочь.

– Нам это, слава богу, не грозит! – воскликнул тогда папа. – У Райки никаких предпосылок.

– Ерунда, – возражал Илья Матвеич. – Когда-то среди балерин встречались пышки! Матильда Кшесинская, например.

– Нашел с кем сравнить! – отмахивался Абрикосов.

– Как вы знаете, Альберт, во время войны мы с мамой жили в эвакуации в Чапаевске, – эпически начинал Илья Матвеич в изношенном махровом полосатом халате и стоптанных тапках, помешивая овсянку. – Мама работала в Доме культуры – помогала гримировать и одевать артистов на спектакли, а меня, чтобы не оставлять одного, брала с собой. Мне очень нравилось “Лебединое озеро”, я всегда ждал, когда с восходом луны чары злого гения ослабнут, белый лебедь превратится в прекрасную Одетту и покоренный красотой Зигфрид поклянется ей в вечной любви...

– Все пленяло меня, – рассказывал он с таким теплом, таким участием, – и белое адажио принца с Одеттой, и нервный дуэт Зигфрида с коварной Одиллией. Но танец маленьких лебедей! Я не мог дождаться, когда четыре златокрылых создания выпорхнут из кулисы, сливаясь в геометрический узор, линии которого пересекались строго в определенном порядке...

– Как-то раз явились три ангела, птицы одного оперения, а четвертая, – Золотник ложкой постучал о край кастрюльки, – Геркулес, косая сажень в плечах, такие ноги у ней мускулистые, скрещенные не туда, а сюда!

Илья показал ее танец, и все покатались со смеху.

– Больше я не ходил с мамой на “Лебединое”, вот какой балбес! А эта лебедь, как я сейчас понимаю, – она всем лебедям лебедь. В ней было столько жизни! Возможно даже, это был мужчина, я не знаю.

– Пусть девочка попробует, почему нет? – вмешалась в разговор Берта Эммануиловна. – У меня подруга училась в Ваганьковском училище...

– Вагановском, – заметит надменная Магницкая, – Ваганьковское – это кладбище.

– Да какая разница! Вольф, ты помнишь Ларочку Синаткину? – Берта поворачивалась к своему супругу, хромоногому старичку. – Она еще танцевала

краковяк и мазурку в Императорском театре. “Колени в хлам, – Лара говорила, – связки воспаленные, шея свернута... Но игра стоит свеч!”

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/moskvina_marina/tri-storony-kamnya

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)